

ЕСТЬ в нашем городе на Подольской улице (там, где она улируется в Загородный проспект) замечательный дом. Замечательный потому, что семьдесят лет назад именно под его крышей родился выдающийся композитор современности Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Славную дату мы будем отмечать завтра, а сегодня давайте познакомимся с Шостаковичем-человеком. И поможет нам в этом его сын.

С главным дирижером и художественным руководителем симфонического оркестра Всесоюзного радио и центрального телевидения, лауреатом Всесоюзного конкурса дирижеров Максимом ШОСТАКОВИЧЕМ я встретился на столичной улице Качалова, в Доме радиовещания и звукозаписи. Накануне вечером он вернулся из Копенгагена, на очереди — выступления в концертах, посвященных памяти Дмитрия Дмитриевича, в Вене, Париже, Осло, Брюсселе, других городах... А сегодня с утра в пятой студии — обычная репетиция. В перерыве мы поднялись в комнатку этажом выше, и я включил магнитофон.

ВЫБИРАЕМ
СОБЕСЕДНИКА

Завтра исполняется 70 лет
со дня рождения Д. Д. Шостаковича

«ВНЕ МУЗЫКИ ЕГО НЕ СУЩЕСТВОВАЛО...»

— Максим Дмитриевич, вероятно, я не проявлю сверхпроницательности, если выскажу предположение, что музыкантом вы стали далеко не случайно, что самое непосредственное отношение к этому имел ваш отец?

— Не смею с вами спорить.

— И все-таки, как это было? В чем конкретно влияние Дмитрия Дмитриевича проявлялось еще в самые ранние ваши годы?

— Отец работал почти без отдыха. С самого раннего детства и я и моя сестра постоянно находились в атмосфере музыки. В доме часто бывали Оборин, Ойстрах, Кнушевицкий, другие крупнейшие музыканты. Репетировали... Первые, уже отчетливые детские воспоминания связаны у меня, пожалуй, с городом Куйбышевым, где наша семья находилась в эвакуации: вижу себя сидящим в большом кожаном кресле и пытающимся дирижировать... Квартетом имени Бетховена. Да, увлеченно махал руками под музыку и очень при этом собою гордился.

Первой музыке стали учить сестру Галю, которая была старше меня на два года. К ней приходила учительница Елена Петровна Ховен, и я сестренке очень завидовал. Но папа говорил: «Рано». И наша бабушка, Софья Васильевна (которая почему-то запрещала называть себя бабушкой, только «бабкой»), тоже считала, что рано: ведь и своего ныне столь знаменитого сына она стала приобщать к музыке лишь в девять лет... В общем, мне говорили «рано», а я, как мог, протестовал — например, во время занятий сестры залезал под рояль и так давил на правую педаль, что инструмент гудел, и на нем невозможно было играть... Наконец через два года Елена Петровна начала учить и меня. (Кстати, и мой сын Митя сейчас тоже занимается у этого замечательного педагога).

Отец писал для Гали и меня разные музыкальные пьески, поэтому флюиды музыки Шостаковича в нас сидят довольно прочно. К моему окончанию школы он сочинил Второй фортепианный концерт, и тогда же я его исполнил.



— Как же дома вы «делили» с Дмитрием Дмитриевичем рояль, и вообще — он требовал от домашних дисциплины, тишины?

— Совсем наоборот. Отец умел работать в любой обстановке. Народу у нас в доме обычно бывало много, и еще — дети, собаки... Я гремел на рояле, но ему никакой шум не мешал. Умел отключаться. Между прочим, у рояля он вообще почти никогда не работал, не проверял гармоний. Как мне кажется, он только записывал музыку, а думал и решал все окончательно раньше, в уме. Весь процесс сочинения происходил, очевидно, когда он гулял, когда просто жил, существовал, а потом, в какой-то определенный момент, садился за стол и записывал уже готовую, отшлифованную «продукцию». И в свои планы заранее никого не посвящал. Только после завершения работы извещал друзей, что, например, написал двадцать четыре прелюдии и фуги, и приглашал послушать...

Ко мне часто приходили школьные приятели, нам хотелось танцевать, а подходящих пластинок в домашней фонотеке не было. И вот однажды отец специально для этих сборищ наимпровизировал на рояле разные позабытые танцевальные мелодии и записал их для нас на магнитофонную пленку...

— А петь он любил?

— Нет, не любил. Да и голос у него был неважный, но, однако, необыкновенно выразительный. И когда отец исполнял свои вокальные сочинения сам, то делал это, хотя и крайне камерно, но очень выразительно...

— Были ли у вас в семье «общие» книги, спектакли?

— Своим суждением отец обычно наталкивал нас и на книги, и на спектакли, и на фильмы, которые считал важными. Обожаю Достоевского, Чехова, Гоголя. И так ярко сопереживал прочитанному, так умел об этом рассказать, что

та по поводу своего исполнения обычно поспешно отвечал: «Хорошо, хорошо». А вот в кого верил, кого любил, тому иногда мог сказать и что плохое...

— Есть ли среди произведений Дмитрия Дмитриевича такое, которое имеет для вас особый смысл, связано с особым воспоминанием?

— Есть. Восьмая симфония. Помню грандиозное впечатление, даже потрясение от репетиций этой симфонии в Ленинграде, на которые меня приводил отец. Все покоряло тогда — и облик Евгения Александровича Мравинского и музыка сама по себе... Позже я чувствовал, что и отец эту симфонию тоже очень любил. Не случайно, когда умерла моя мать, Нина Васильевна Шостакович, он включил запись именно

но Восьмой, и она звучала над моим гробом...

А вообще отец любил все свои произведения, про симфонию говорил: «Они — как родные дети, и я их люблю все. Если бы какую-то не любил, я бы ее просто не написал».

— Наверное, быть «сыном Шостаковича» совсем не просто, особенно, если сын — тоже музыкант! Делал ли вам отец скидки, когда вы работали над его произведениями?

— Для меня уже очень давно резко дифференцировались два понятия: есть — отец, и есть — великий композитор Шостакович. С огромным уважением я относился к нему, прежде всего, как к великому музыканту. По-моему, отец просто не мог не сочинять музыку. Вне музыки его не существовало. Кое-кто, еще в школе, случалось, меня спрашивал: «А сколько твоему папе платят за симфонию?» Подобное мешанское любопытство мне всегда было неприятно, потому что твердо знаю: если бы Шостаковичу вдруг однажды сказали, что он сам должен платить за каждую симфонию, отец не раздумывая, занялся бы любой работой, вплоть до натирки полов, чтобы только эти деньги заработать. Ради возможности сочинять музыку Шостакович не остановился бы ни перед чем.

Просто ли быть «сыном Шостаковича»? Кое-кто считает: если дирижер — сын Шостаковича, то отец объясняет ему каждую ноту, каждый такт. На самом деле этого не было никогда. Например, осваивая Пятнадцатую симфонию, я учил партитуру совершенно самостоятельно и пригласил отца на прослушивание только тогда, когда все было уже готово. Принципиальных разногласий по исполнительским проблемам у нас, пожалуй, не случилось — видно, я все-таки очень чувствую его музыку. Она для меня — родная, я с нею вырос и понимаю, что отец хотел ею сказать. Поэтому ему не приходилось ничего мне втолковывать... Тем не менее, как к музыканту, он ко мне был весьма требователен, и когда я того заслуживал,

мнение высказывал весьма жесткое. И мне это, уверяю вас, было нисколько не обидно, потому что, если бы отец не надеялся на то, что я способен правильно исполнить его сочинение, то, наверное, вообще бы ничего не говорил.

— Как вы считаете, вам самому удалось перенять его рабочий ритм, его умение постоянно трудиться?

— К сожалению, увы... Ту мне до него очень далеко. Отец был примером точности обязательности. Никогда никого не заставлял себя ждать, например, когда звали к обеденному столу, тут же откладывал работу, даже если записывал в этот момент кульминацию симфонии.

— Интересно, как он относился к вокально-инструментальным ансамблям? Мне почему-то кажется, что засилье на эстраде огромного количества безликих ВИА неприменно должно было его тревожить...

— Конечно, этим жанром отец не увлекался, хотя и считал, что все музы должны развиваться свободно... Вчера я вернулся из Копенгагена, где дирижировал его Двенадцатой симфонией, и там мне как раз рассказали такой случай. Однажды Шостаковича пригласили на «Картинки с выставки» в исполнении какой-то бит-группы, и он потом очень гневался: «Как же можно замечательное произведение Мусоргского вдруг переложить на электролад!» Дело даже не в самих электроинструментах. Он говорил: «Неважно, какой краской нарисовано, лишь бы было талантливо». Аранжировку классики не одобрял. Однажды, помню, мы с ним слушали «подозвоненного» Баха — все было в общем-то как у Баха, только шло под ритм-группу. Отец вздохнул: «Прекрасно, но если бы еще убрать трещотки...»

— Со стороны кажется, что Дмитрий Дмитриевич был человеком очень сдержанным, скупым на внешнее проявление эмоций. А может, я ошибаюсь?

— Да, те, кто знали его близко, с вами не согласятся. Его эмоциональный диапазон был чрезвычайно широк: он мог и хохотать безудержно и бледнеть от гнева — в общем, сопереживать умел мощно. Но сентиментальности в нем не наблюдалось: сентиментальности — в смысле слезливости, сюсюканья... Это был очень мужественный человек, и все в нем было настоящее — и радость и горе...

— Известно ли вам, что даже после переезда Дмитрия Дмитриевича в Москву ленинградцы все равно продолжали считать его своим земляком?

— И сам отец тоже всегда считал себя ленинградцем. Вот что он написал однажды: «С Ленинградом связана вся моя жизнь. Здесь я учился в Консерватории. Мои первые симфонические произведения прозвучали в исполнении замечательного оркестра Ленинградской филармонии... И где бы я ни жил, куда бы мне ни приходилось уезжать, я всегда чувствовал себя ленинградцем...»

— Какой из заветов отца вы, Максим Дмитриевич, выделяете для себя особо?

— Быть честным — и в творчестве и в жизни вообще.

Беседу вел

Л. СИДОРОВСКИЙ,

спец. корр. «Смены»

Фото автора

Москва — Ленинград